



СНЫ

и

СТРАХИ



ДМИТРИЙ БЫКОВ



Дмитрий Быков

Сны и страхи

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Быков Д. Л.

Сны и страхи / Д. Л. Быков — «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-102060-6

Такого Быкова вы читать не привыкли: современная проза с оттенком мистики, фантастики и исторического эксперимента. Сборник, написанный в лучших традициях Стивена Кинга («Зеленая миля», «Сердца в Атлантиде»), рассказывает истории за гранью: вот скромный учитель из Новосибирской области борется с сектой, вербующей и похищающей детей; вот комиссар победившей в будущем Республики собирает Жалобную книгу из рассказов людей, приговоренных к смерти; вот американец с множественным расстройством личности находит свою возлюбленную – с аналогичным заболеванием. Новые рассказы Дмитрия Быкова сопровождаются переизданием маленького романа «Икс», посвященного тайне Шолохова.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-102060-6

© Быков Д. Л., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Неволя	6
Жалобная книга	12
Шанс	19
Сон о Гоморре	25
Сон об осени	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Дмитрий Быков
Сны и страхи
Сборник

© Быков Д., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Неволя

– Я так думаю, что все это – рука Божья. – Он поднял руку, и казалось, что сквозь его растопыренные пальцы река вьется, как черная лента. – Дело Господне. Его воля.

Трумен Капоте, «Самодельные гробики»

Восьмиклассник Рогачев молчал и смотрел в парту, и историк Смирнов понимал, что проигрывает этот разговор вчистую. Он видел – точнее, ему хотелось так думать, – что Рогачев, как девочка в фильме, одержимая бесом, изо всех сил подает ему знаки: вытащи, вызволи меня, я не хочу проваливаться в это болото. Того и гляди на груди у него проступят красные буквы HELP. Но это казалось, этого не бывало и быть не могло. От Рогачева, смирновского любимца и главной его педагогической удачи, осталась одна оболочка, и вместо красных букв HELP на кисти правой руки у него были синие буквы В.О.Л.Я. И внутри у него была воля, с которой Смирнов договориться не мог.

– Ну хорошо, – зашел он с другого конца. – По средам нельзя в школу. Я это понял. Что можно по средам вместо школы?

Рогачев безмолвствовал.

– Поезда, – наконец сказал он.

– Что поезда?

– Смотреть, – выдавил Рогачев и после паузы добавил: – В десять пятнадцать абулакский и в одиннадцать пять новосибирский.

– Просто смотреть?

– Да. С моста.

Это был не мост, а переход над путями, но называли его так. Через Решетов проходило не так много поездов, да и вообще место было глуховатое даже по меркам Новосибирской области – населения тысяч двадцать, три школы, один кинотеатр. Смирнов, первый выпускник факультета экстремальной педагогики Московского педуниверситета, поехал туда не по своей воле. Он имел все возможности остаться дома, но создатель и декан факультета, боготворимый студенчеством медлительный человек с непредсказуемыми мотивировками и странными источниками информации, на распределении попросил: «Город Решетов. На годик, а?» «А что там?» – в полном недоумении поинтересовался Смирнов, но декан в своей манере отворотился к окну и, глядя на сырые кусты внутреннего двора, ответил с горькой гримасой: «Там... нехорошо».

– Сверху смотреть? – уточнил Смирнов.

Восьмиклассник поднял глаза. Он понял.

– Сверху.

– Ой, не только сверху, – сказал ему Смирнов с дружественной по возможности улыбкой. – Ой, не только.

Бросание камней в окна поездов было одним из немногих провинциальных развлечений, но интерес к этой звероватой забаве вспыхивал редко, обычно во времена, когда подростковая жестокость бог весть с чего достигала пиков. Последний такой пик был в двенадцатом, а самое дикое зверство расцвело под конец застоя. Тогда в школах доходили до такой изощренности, что на зоне удивились бы. Не стало разницы между элитной спецшколой и провинциальным спецПТУ: приставка «спец» подходила им одинаково. Вот тогда, рассказывали им в универе, травматизм в электричках дошел до рекорда: камни по проходящим поездам швыряли с необъяснимой злобой, двух девочек покалечили на всю жизнь, был громкий процесс. Смирнов не помнил, чтобы за последние недели в городе сообщали о подобных травмах, но всего он не знал и знать не мог.

Рогачев опять смотрел в парту.

- Ну хорошо. Допустим, что только смотреть. Допустим. Но зачем? Цель вообще какая?
- Просто смотреть. Как отходит.
- Представлять что-то при этом?
- Зачем представлять? – не понял Рогачев. – Стоять там и это...

Непонятное упражнение. Может, глядя на поезда сверху, они чувствуют себя как бы выше, не знаю, богами, которые распоряжаются миром? Но с «Волей» непонятно было все. Дело было не в отсутствии логики, она как раз была, – но логика эта была нечеловеческая, и всякий раз, сталкиваясь с ее проявлениями, Смирнов чувствовал ту же брезгливую оторопь, что при изучении каннибальских ритуалов. Эти люди очень хорошо понимали, что делали, но цель их была так ужасна, что в сознание не вмещалась, оно отдергивалось.

- А вообще «ВОЛЯ» что значит?

– Ворам Ответка, Лохам Яд, – отозвался Рогачев неожиданно легко. Видимо, это была дозволенная информация, а может, для своих имелась другая расшифровка.

- Почему ответка? – опешил Смирнов.

– Нормально ответка, слово такое. От Бога ответка. Они молятся, им в ответ помощь. Или помиловка.

– Никогда не слышал, – признался Смирнов. – Ответка – это же если ты оскорбил или напал, и тогда месть.

- Мест? – переспросил Рогачев. – Мест будет мшуха, еще мужичка.

- Как?!

- Мужичка, когда прилетает мужику. Еще причпок. Мужик ошибся, и его причпокнуло.

Это был новый лексикон, не тот, который изучали в универе, когда рассказывали про АУЕ. И на АУЕ это совершенно не было похоже. АУЕ был, собственно, пройденный этап – своего рода комсомол при благодати, расколовшийся, как всякий комсомол, из-за непомерных амбиций небитых лидеров; с «Волей» роднил их только неожиданный идиотизм расшифровки. Впрочем, Смирнов всегда подозревал, что «Арестантский Устав Един» было вариантом для внешних, а на самом деле это было ужасное междометие из того древнего языка, на котором разговаривали истинные местные жители. Эти местные давно ушли в подполье, но держали все под контролем. Он никогда их не видел, представлял смутно, но всегда ощущал их присутствие. Это они собирались иногда на опушках, жгли костры, пару раз он видел их сходки на даче, когда ходил за грибами и вышел вдруг к незнакомой опушке возле поселка со странным названием Серпы; тогда он почувствовал что-то и затаился в траве, но один из звероподобных, сидевших у костра, стал глядеть в его сторону белыми пятнами глаз, и маленький Смирнов побежал прочь, никогда в жизни он не бегал так быстро. Если бы захотели, они, конечно, оставили бы его. Окраины Решетова были похожи на ту опушку, да все окраины были на нее похожи: ржавый хлам, почему-то обязательно дырявые сапоги, какое-то тряпье, снятое с трупа, то есть трупье. Теперь, видимо, они выходили из подполья, почуяв, что зашаталась власть тех захватчиков, которые их туда загнали. И в самом деле, уже ясно было, что у нынешних все посыпалось, но те, которые вылезут из погребов, будут хуже. На самом деле они и не прекращали тут править. На поверхности было иго, цари, большевики, а в местах вроде Решетова, на опушках вроде Серпов всегда была их власть.

– А Громов вам чем помешал? – решил Смирнов на главный вопрос. Громов, единственный его приятель в решетовской школе номер семнадцать, хотя всего их было две и вторая была номер пять, – внезапно уехал на прошлой неделе. Собрался за день и исчез вместе со старухой матерью. Смирнову он успел только сказать, что к нему подошли вечером и очень убедительно сказали смываться, иначе ни за что не отвечают.

- Видел он, – неохотно ответил Рогачев.

- Что видел?

- Как жарили.

– Кого жарили?

– Никого, – засмеялся Рогачев. – Вы чего, Петрович? Просто жарили.

Петровичем Смирнова называли только ближайшие, пятеро из кружка. Азы экстремальной педагогики: на новом месте прежде всего обзаводись кружком помощников, тайными агентами, через которых сможешь узнавать про настроения.

– Нет, постой. Что значит – просто жарили?

– Ну как жарят. Обычно так.

«Думали туман», вспомнилось Рогачеву. Кто же те очкарики, которые рулят здесь?

– Подожди, Леш. И жрали потом?

– Не понимаете вы, – сказал Рогачев сочувственно. – Это вообще не про то.

Он замкнулся снова, и Смирнов опять почувствовал тошную беспомощность. Он пару раз прочел про себя мантру, рекомендованную деканом как раз для таких случаев, – «Думал дурак одурачить, думал слепой ослепить, думал тупой обозначить, думал немой завопить», – и сработало: перед ним был восьмиклассник, только восьмиклассник, мальчик из проблемной семьи, который ему верил, который к нему тянулся, которого он завербовал тогда и завербует сейчас.

– Алексей, – сказал он серьезно и поглядел на него тем взглядом, который выработал давно, взглядом, которому всех их как следует учили. – Кто у вас старшие?

Но Рогачев взглянул на него очень прямо своими зелеными – не может быть, ведь у него карие? – ярко-зелеными с желтизной глазами и скривил рот в очень неприятной улыбке.

– Петрович, – сказал он сипло. – Вы ничего не понимаете вообще. Вы нормальный, но ничего этого не надо.

– Что значит нормальный? – Смирнов знал, что цепляться надо к самому нейтральному слову и от него постепенно пробираться к непонятному.

– Нормальный. Сносный. Губной. – Рогачев смотрел прямо и твердо. – Но вам это не надо. Нет никаких старших, младших, этого всякого. Там воля, ясно? Просто воля. Была ваша воля, стала наша. И лучше бы вы тоже ехали.

– Куда ехали?

– Это я не знаю. Это уже ваша воля. Я пока еще могу что-то, и еще пара недель у вас, может, есть. Но потом март, а в марте я уже ничего не это. Уже я не буду это мочь.

У них с Рогачевым в самом деле были особые отношения, этот проблемный мальчик был явно талантлив, он чувствовал историю, как охотник чует дичь, у него был прирожденный комплексный, системный подход, он мгновенно выделял главные факторы, догадывался о темной связи экономики, ландшафта и местного фольклора, у него была исключительная память на даты, Смирнов сразу выделил его и из безнадежно отстающего сделал отличником, потому что учил не зубрить, а думать; это был его золотой резерв, прочие в кружке никакими талантами не обладали, просто любили нового учителя и отдыхали душой на его веселых уроках. Но теперь Смирнов понимал, что Рогачева засасывает темная топь, а он держит его за руку и не удержит; понимал он и то, что Рогачев мучается, но обречен будет его предать, и если сейчас Смирнов отступится, то это будет еще полбеды. А если продолжит приставать и тащить, тогда его придется предать громко, гробно. Гробно? Он не знал этого слова, оно как-то вдруг подумалось само, он начинал уже думать на ужасном, заразном языке воли, и Рогачев, словно почувствовав это, вдруг вскинул на него ядовито-зеленые глаза.

– Понял? – спросил он почти весело. – Всосал, да?

В кабинете уже темнело, и Смирнов, весь дрожа, включил свет.

– Чего это ты такой довольный, Леша? – спросил он, призвав на помощь всю свою насмешливость. Но Рогачев уже опять смотрел в парту.

Свет придал Смирнову уверенности. Никто ему тут ничего не сделает, и его кое-чему учили.

– Леш, – сказал он тихо. Сейчас надо было говорить очень тихо, надо было пугать, давить. – А где Маша Разумова?

Он попал и сразу это почувствовал. Рогачев поднял глаза, тут же опустил голову и как-то сжался.

– Это вы ее? – нажал Смирнов.

– Что мы ее?

– Ты знаешь что.

– Я-то знаю, – сказал Рогачев. – А вы не знаете.

Смирнов действительно не знал, и атака его, кажется, захлебнулась. Маша Разумова пропала на три дня. Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Потом нашлась, сидела утром в школьном дворе, вся сжавшись, скукожившись, – откуда пришла, неясно, была метель, замела следы, и никто не знал, сколько она так просидела. Отвечала на все расспросы, что была у подруги. У какой подруги? У такой. Была очень бледна, под глазами жуткие синяки, какие бывают не просто от бессонницы, а от травмы; мало что видел Смирнов страшней ее лица и дал слабину – не стал расспрашивать, хотя этому тоже учили. Дома ее сильно отлупили, утром отец сам повел ее в школу, она вдруг на светофоре вырвалась, побежала, и поминай как звали. Весь город подняли на уши, искали везде, да куда там. Отец даже не запил, сидел, глядя в стену и периодически ударяясь об нее лбом.

– Но это воля? – спросил Смирнов.

– Ее воля, а то, – сказал Рогачев и опять отвратительно усмехнулся.

– Рогачев, – сказал историк очень решительно. По идее сейчас его следовало взять за подбородок, взять решительно, с силой, чтобы он почувствовал: игрушки кончились, этот учитель правил не соблюдает и может с ним сделать все. Но Смирнов этого не сделал, потому что тоже чувствовал: правила кончились, и если Рогачев сейчас сдерживается, то надолго его не хватит. Их тоже чему-то учили, пусть не с сентября, пусть декан, как всегда, поторопился, но с ноября точно началось что-то нехорошее, школу прогуливали в открытую, многие не ночевали дома, и родители не знали, что думать. Это было не пьянство, не спайсы, от этого волосы шевелились на голове.

– Рогачев, она там же, где Ашкерова? – спросил Смирнов очень твердо.

– Ашкерова? – переспросил Рогачев. На этот раз, кажется, он удивился искренне. – Чево Ашкерова? Она с шофером уехала.

– С каким шофером?

– С дальнобойщиком. Ашкерова всегда тронутая была. Нет, Петрович, Маша Разумова не там. Маша Разумова там, где никакой шофер не доедет.

– Она жива?

– Она так жива, как никакая Ашкерова не жива. Можно сказать, живет всех живых. Я даже думаю, Петрович, что хорошо бы вы были так живы, как Маша Разумова.

Это что же, она у них теперь вроде хлыстовской богородицы? Взята в общину? Жена главного растлителя? Но все это было мимо, он сам понимал.

– Леша. А меня могут взять в волю? Посмотри, я тебя взял в кружок. У тебя началась приличная жизнь. Ты в авторитете был. Можешь ты сделать, чтобы я попал в волю? Хоть раз? Хоть, не знаю, постоять на поезда посмотреть?

– Смотрите, что ж, – пожал плечами Рогачев. – Только мы не там смотрим. Не на том мосту.

– А на каком?

– Да на любом. Ну посмотрите вы, – сказал он равнодушно. – Ну сходите. А дальше?

– Как скажете. Но мне хочется понять.

– Не надо вам понимать, – сказал Рогачев. – Тут не понимать надо. Вот вы историк, да? Вы думаете, тут история. А тут никакая не история, была и нет, все. Тут нечего историку понимать. Если б вы были вольник, тогда пожалуйста. – И он усмехнулся вовсе уже нехорошо.

– Что значит вольник?

– Ничего не значит. Это я сейчас придумал. История – историк, воля – вольник. Пойду я, пора мне, Петрович.

– Пора тебе или нет, Леша, это я сейчас решаю, извини.

– Да нет, Петрович, – сказал Леша и встал. – Это моя воля. Вы подумайте, что я сказал. Неделью еще, но это самое большое. И вы это, не разговаривайте много. Хотя уже какая разница.

И он не спеша, что было всего невыносимей, пошел к белой потрескавшейся двери и вышел за эту дверь, не обернувшись, ничего больше не сказав; и Смирнов проводил его беспомощным взглядом, больше всего боясь, что ему теперь тоже предстоит выходить на улицу и одному по ней идти. Он почему-то надеялся, что они пойдут вместе.

Он оглянулся и увидел, что на доске было ярко написано:

«В.О.Л.Я»

Он не писал, и Рогачев не писал, и этой надписи не было. Или он ее не видел? Разумеется, она была, и он ее не видел. Или он сам написал это машинально, когда Рогачев дал ему дурацкую расшифровку. Конечно, он написал сам. Он хотел посмеяться. Она не могла появиться сама, в такие вещи он покамест не верил. Конечно, он сам, и он сам так писал «Л», это была его рука и его воля.

Почему-то ему страшно было смотреть на свое отражение в совсем уже темном окне, и страшно было гасить свет. Но он заканчивал отделение экстремальной педагогики, у него был опыт практики в Дагестане, он кое-что умел. И у него хватило сил поглядеть на свое отражение, выключить свет, почти спокойно спуститься на первый этаж, одеться, попрощаться с охранником – охранник тоже улыбался не очень хорошо – и выйти на улицу.

Начиналась метель, небо было отвратительного мутно-лилового цвета, время шло к пяти вечера, и Смирнов оглядывался, все думая увидеть кого-нибудь с белыми глазами, кого-нибудь, кто скажет ему убираться, и лучше до завтра; но никого не было, вот странность, вообще было почти пусто, только мигало вдали кафе «Восток», злачное место, которому вообще-то рядом со школой быть не полагалось, но кто же в Решетове соблюдал правила? Смирнову невыносимо вдруг захотелось туда зайти, но он понимал, что ему туда нельзя. Надо было домой, сидеть и думать, рисовать схемы, связываться с коллегами, разбросанными сейчас по всему пространству страны, а на всем этом пространстве была воля, огромная свистящая метельная воля, эта воля вырвалась наружу и теперь все решала. Смирнов уже сворачивал на свою Первомайскую, когда увидел вдруг, что из метели ему навстречу вышел Рогачев с низко опущенной головой, а сзади Рогачева подталкивал как бы его младший брат или кто-то из младшекласников, потому что никакого младшего брата у него не было. Смирнов взгляделся: нет, это был взрослый, но вроде лилипута, с морщинистым старческим личиком, но ростом не больше десятилетнего. И Рогачев, хоть и был выше его чуть не вдвое, покорно шел и только на Смирнова взглянул с запоздалой мольбой, словно утопающий.

– Стоп, – сказал Смирнов очень громко. – Это что такое? Куда вы его?

– Иди давай, – сказал тонким голосом маленький человек – то ли Смирнову, то ли Рогачеву.

– Куда вы его? – еще громче повторил Смирнов.

– Куда надо ему. Его воля.

– Леша, ты пойдешь сейчас со мной, – сказал Смирнов и взял его за руку. Но Рогачев вырвал руку и посмотрел с яростью.

– Не надо тут, – сказал он. – Идите, иди.

Самое ужасное, понял вдруг Смирнов, это когда у тебя был твой, последний из верных, а ты его не удержал, и теперь с ним за его верность сделают страшное; самое ужасное – быть учителем отмененной дисциплины, и первый ученик теперь будет первым на расправу, и ты ничего не сможешь сделать.

Маленький человек поднял на Смирнова белые глаза, и Смирнов отошел в сторону.

Он еще некоторое время постоял под снегом, а потом побрел домой, уже понимая, что никакого дома нет и никогда не было.

Жалобная книга

Верховный комиссар Кругловки, кавалер ордена святой Варвары с мечами, бывший министр обороны республиканского правительства, оттесненный на периферию интригами присланного из Москвы политолога Чувылина, почетный реставратор Военно-исторического общества и прочая, прочая, прочая, – Василий Миронович Смирнов-Шахтерский был не чужд литературе.

Как все великие полководцы нашей эры, по завершении программы-минимум (сводившейся к завоеванию Южной Европы, раз уж временно заморозился проект Западнославянской империи) он мечтал посвятить себя прозе. Но проза была исчерпана: кто станет после катаклизмов нового века читать о комнатных страстях? С него стало бы, пожалуй, в пяти-шести томах описать зимнюю кампанию и последовавшую за ней народную весну, но все это было позапрошое столетие. Новая литература должна была стать абсолютной, как смерть. Он где-то читал (читал вообще много и неразборчиво), что какой-то из советских классиков учился краткости и хлесткости у пыточных протоколов петровских времен. На дыбе человек не красноречив, он говорит главное, – вот где стиль, а не в ажурном плетении словес. Однако дыба – полумера, главное говорится перед смертью или после смерти. Дурак возразит, что после смерти ничего не говорится. Это не так. Есть состояния – перед боем, в бою, после смертельного ранения или смертного приговора, – когда человек уже выбыл из мира живых, но сохранил еще способность к речи. Досадно, что большая часть смертельно раненных борцов, которых Смирнов обходил в госпитале, воздавая последнюю дань их доблести (на похоронах не бывал, много чести), неразборчиво бредила или просила обеспечить денежным довольствием семью. Все это было скучное, слишком человеческое. Из другой русской книги, направленной против смертной казни, – автор был глупый либерал, но увлекательно описывал сам процесс, – Смирнову запомнилось предсмертное письмо циничного вора и убийцы, который лишил жизни добрый десяток разинь, но о собственной смерти впервые задумался накануне казни. «Дорогие папаша и мамаша! Вы читаете а нет уже меня! Отпишите дядечке и тетечке в Тифлис что уже меня нет. Нет уже меня! Прощайте ждут любящий вас сын Иван Тимофеев Мурцев». Видимо, ему очень важно было в последний раз написать «Мурцев», оставив тем хоть какой-то след на земле: никакого другого смысла подписываться не было – родители и так знали его фамилию. Да, такое чтение Смирнову нравилось, оно его не тяготило, даже несколько возбуждало. За гранью смерти человек должен что-то такое понимать, и состояние приговоренного в этом смысле идеально: физических травм нет, писать и думать ничто не мешает, страх сменяется лихорадочным возбуждением, иногда даже весельем, иногда тупостью, равнодушием, обреченностью, как у скотины, ведомой на убой, – а под самый конец, уже заглядывая за грань, уже в идеальном состоянии небытия, можно разглядеть нечто, в повседневности от нас ускользающее. Смирнов понимал – о, не беспокойтесь, гуманисты, – что вся литература, все вообще буквы, даже увольнительные записки, даже квартальные отчеты (они-то в особенности) пишутся перед смертью, приговоренными, вдобавок не знающими дня и часа; но слишком многое заслоняет истину. Он и сам ее не знал, но догадывался, что она существует. Война имела смысл только потому, что приближала тысячи людей к познанию истины и даже непосредственно погружала в нее, потому что она обступает человека сразу после смерти. Поведать о ней можно было только в миг перехода. И это была бы, о да, наконец-то, – свэрхлитература.

В Кругловке было мало развлечений, швейная фабрика не работала, кино не привозили, интернет часто зависал. Единственным способом развлечь, а заодно и мотивировать население оставались публичные расстрелы, к которым Смирнов прибегал сначала по воскресеньям, затем по обоим выходным, а теперь еще и по средам. Населения хватало, предложения не переводились – от кражи соседской рубахи, вывешенной на просушку, до диверсий, доказывать которые

не требовалось, ибо все в городе и так со страшной силой сыпалось и ломалось. Ржавел водопровод, рвались электрические провода, случались обстрелы, хотя все реже, поскольку война выдыхалась на глазах, – и всегда можно было обвинить любого кругловца в корректировке огня. Мирное население, которое Смирнов в душе глубоко презирал, давно бы разбежалось или свергло к чертям верховного комиссара, – но в главном он не ошибся: расстрелы понравились, народ вошел во вкус. Было интересно. Многие ненавидели соседей, иному заманчиво было посмотреть, как станет корчиться отвергнувшая его одноклассница, некоторым подросткам надоели родители, а что не будет больше горячего обеда, так проживем как-нибудь. Женщин Смирнов расстреливал выборочно, неохотно. Он был все-таки солдат, а главное – он не верил в женскую литературу. Если кто и мог написать что-то подлинное, то, конечно, мужчина, и лучше бы не испорченный образованием.

Каждому приговоренному на ночь оставляли книгу, предупредив, что если она будет повреждена или вовсе уничтожена, расстрел заменят сожжением. Смирнов берег книгу, которую про себя называл, за неимением лучшего, «Жалобной». Разумеется, потом, вдумчиво разобрав все эти каракули бывших двоечников (сам Смирнов писал каллиграфически, с писарскими росчерками), он подберет название поточней, поярче. Но странно – читать книгу, в которой насчитывалось уже больше сотни записей, иные на несколько страниц, он не решался. То ли время еще не пришло, потому что в книге – большой, конторской, с плотными желтыми страницами – оставалось еще много места. То ли Смирнов боялся прочесть о себе нечто, способное подорвать его собственный боевой дух. Черт его знает, что могло там содержаться.

В любом случае, понимал Смирнов, это будет Литература. Никто теперь ничего не читал именно потому, что литература пишется кровью, а крови не было: вода, в лучшем случае чернила. Он понимал, что в Кругловке сотворится книга года, десятилетия, а может, и века; знал, что премия «Большая книга», если она еще существует, ему гарантирована; о количестве переводов даже не задумывался. Новая Библия, на меньшее он не соглашался. Понятно, почему до сих пор не появилось ничего подобного: ни у кого из редакторов до сих пор не было возможности приговорить сотню авторов к смерти. Мечтали, но не получалось. Он первый, кому весна славянской надежды дала такую возможность. Он знал, что книги последних слов всегда пользуются успехом, и это мягко сказано – ломают жизни! В школе он однажды украл из кабинета истории все равно никому не нужную книгу «Говорят погибшие герои», содержащую предсмертные письма бойцов и арестованных партизан. Если не считать явно вписанных нанятыми сочинителями длинных писем про любовь к Родине, документы были яркие. Он запомнил слова одной приговоренной партизанки, обращавшейся к сыну: «Все заучивай для тебя будет не плохо». Настоящее, такого в кабинете не придумаешь. Существовала так и называвшаяся «Книга последних слов» – чьи-то рассказы, стилизованные под последние слова на советских судах, но преступления были скучные – избиения, кражи, алименты, и последние слова скучные, как надписи в сортире на автовокзале. В Кругловке когда-то был автовокзал, но теперь закрылся, в нем выбили все стекла и загадили пол, словно гадить больше было негде. Была, наконец, книга одного застрелившегося немца «Последние слова». Немец был неглуп, доказывал в единственной книге, что женщины и евреи суть низшие существа, лишённые доблести, но тщетно ждал Смирнов от его последних слов какого-нибудь откровения. Немец был слишком образован, думал перед смертью о каких-то греках. Это не было коренной правдой, той, проступающей вдруг в мокром лесу, как черная болотистая вода между прелыми листьями. Если сказанное под пыткой было образчиком стиля, то что говорить о написанном в полупосмертном состоянии, когда доступна обзору и вся предыдущая жизнь, и будущая? (В неизбежности будущей Смирнов не сомневался, поскольку такая исключительная, сверх всякой меры одаренная личность, как он – писатель, военачальник, блистательный организатор всего, за что брался, прежде всего расстрелов, – не могла исчезнуть бесследно; книги, воинские победы –

все тень, подлинное же сияние исходило из его больших серых глаз, из лаконических реляций, из прочувствованных слов, которыми предварял он казни.)

Иногда Смирнову казалось, что он и на войну, и в Кругловку пришел только для того, чтобы организовать книгу, даже – Книгу. Он хранил ее в сейфе, вынимал строго в восемь вечера накануне казни (приговоренных обычно расстреливали на другой день после суда, занимавшего не более получаса), а утром, после экзекуции, когда на кругловском кладбище в братскую могилу торопливо зарывали тела, запирали снова. Был соблазн прочесть то, что написала свежая убоина, но он всякий раз воздерживался, и до какого-то момента это его действительно хранило – словно он, не соприкасаясь со смертью лишней раз, получал гарантии безопасности еще на пару дней.

Но заканчиваются всякие гарантии, и теперь у Смирнова было десять часов, чтобы спокойно прочитать книгу и что-нибудь туда написать. Дело в том, что приехавший из Москвы под видом гастроллирующего певца представитель Ставки Кушелев давно прослышал о смирновской манере еженедельно расстреливать трех врагов трудового народа и явился с проверкой. Получив подтверждение ужасных слухов, распространяемых Би-би-си, он немедленно арестовал Смирнова, не успевшего даже кликнуть верного ординарца Шухова, и, к рабской радости кругловцев, приговорил к расстрелу в двадцать четыре часа. О книге ему доложил тот самый ординарец, и Кушелеву понравилась смирновская идея. Он лично отнес Смирнову книгу на тех же условиях: впиши что хочешь, порвешь – самого порвем, собаками. А сам подумал: в Москве издам. Или, возможно, передам Би-би-си. Посмотрим, кто как заплатит.

И вот Смирнов сидел теперь в том же самом помещении бывшего овощного склада, назначенного им под тюрьму. Прежняя кругловская тюрьма не годилась, помещение было выбрано со смыслом: из зарешеченного окна был виден маленький стадион, на котором и теперь играли в футбол жители бандитского микрорайона Тугарино. Вид был идиллический, невоенный. Рядом шумел деревьями парк, а поскольку окно выходило на восток, у приговоренного был шанс проснуться с первыми лучами (если заснет вообще) и что-нибудь существенное дописать. Что-нибудь самое последнее, исполненное мрачной решимости или подлинно смертной тоски. Смирнов всегда подробно расспрашивал конвоиров, что делал приговоренный в последний момент, писал ли что-нибудь или спал, отвернувшись от окна, или курил (Смирнов заботился о том, чтобы накануне обязательно выдавали пачку).

Теперь холодным апрельским вечером он сам сидел у окна при свете голой лампочки и читал свою Книгу, в которую должен был вписать последние слова. Шелестел парк, напоминая деревенский лес детства. В отдалении толпились кругловцы, желая заглянуть в окно к бывшему диктатору, но охрана не подпускала. Смирнову создали напоследок все условия, чтобы оставить от всей его бурной жизни последний иероглиф.

«Смирнов сука тварь подлая гадская мразь ты в аду гореть будешь в огне сволоч. Кто тебя сюда звал тварь зачем ты пришел. Подавись мразота тебя не растреляют тебя зубами разорвут. Смирнов падла сука тварь ты мной подавишься. Говно вонючее падла ты своей смертью не помрешь Смирнов. Ты сука и все вы суки. Тебе воды никто не подаст. Ты в говне в блевотине умирать будешь Смирнов. Твою могилу затопчут никто не будет знать где ты лежишь. И могилы у тебя не будет. Твоя мать сука Смирнов подзаборная тварь твоя мать. Твоя мать за бутылку давала. Твою мать сейчас черти жарят. Детей у тебя нет и не будет. Тебя за яйца вверх ногами подвешат Смирнов, ты будешь висеть а будут подходить и в харю плевать. И ссать в харю будут Смирнов. Ты говна кусок».

«Настоящим довожу что мой сосед Щербатов Н. К. 1958 г. р. многократно высказывался что это все хорошо некончится а кончится как с Гитлером. И говорил что лучше было без этой всей весны. И дочь его Гуслеева М. Н. замужем за Гуслеевым Д. П. который сейчас кстате

пребывает в Москве шофером там прирабатывает и присылает денег так его жена Гуслеева дочь Щербатова говорила что невозможно больше так. Хочу также сказать а то не выслушали в суде но я скажу Хвостинский Л. Д. с улицы Абрамяна дом 16 сказал что телевизор все ложь и зимой вообще будем умирать. Когда был парад пленных Семенов Л. К. с улицы Марата д. 12 кв. кажется 6 сказал что не пленные все а переодетые, что столько пленных нет. Ходырева Серафима соседка Хвостинского Л. Д. заходила к нему я слышал и говорила когда уже все это закончиться. Должна быть справедливость а не то что одного за всех. Могу так же указать что действует подпольный центр который обязуюсь назвать полностью в случае если мне будет дана возможность. Прошу допросить и дать возможность указать конкретные адреса потому что возможны диверсии на день города и так же в дальнейшем. Больше 40 человек входит туда. Готовятся безусловно покушения. Прошу рассмотреть в срочном порядке. Я не хочу это уносить с собой но не выслушали, теперь прошу требую выслушать. Я требую выслушать».

«Кассация. Утверждение о том, что я мог корректировать вражеский огонь, совершенно не соответствует действительности и абсурдно. Прошу суд внимательно ознакомиться с обстоятельствами, которых не дали даже изложить. Утверждается, что я по телефону корректировал огонь во время обстрела 23. 09. Но как это возможно, когда все звонки мобильного телефона можно получить и в полной распечатке не найти ни одного такого разговора? Хорошо, даже если бы я мог корректировать огонь по телефону, как я мог находиться в 17. 15 в здании завода им. Чкалова, когда я в это время находился с учащимися на экскурсии по родной природе, что все они могут подтвердить и подтвердят? Хорошо, допустим даже, что во время экскурсии я мог произвести звонок, но какой огонь я мог корректировать из парка им. 40-летия Октября, в каком-то отсутствуют любые объекты? Это смешно, абсурд. И почему я должен был корректировать огонь, когда в это время, как показал комендант Лазаревского района, обстреливалось вообще общежитие № 3, от которого я находился на расстоянии 3 км? Я не говорю уже о том, что не имел никакого мотива для корректировки обстрела и военного образования, и даже армейского опыта не имел, чтобы таким обстрелом вообще координировать из города. Тому, что я находился в парке им. 40-летия Октября, множество свидетелей, весь девятый класс за вычетом больных, но с них не сняли показаний даже письменно. Утверждается также, что после корректировки огня я пошел в гости к Муханову Т. П. Какой может быть смысл ходить в гости после корректировки огня, неужели для того, чтобы отметить выпивкой удачную корректировку огня?! Это тоже абсурд. Показания Муханова Т. П. действительности соответствовать не могут, поскольку всем известно, что это спившийся алконавт, который должен мне к тому же довольно большую сумму, накопившуюся за все время, когда он у меня занимал, и я отвергаю категорически. Учитывая, что в школе осталось три преподавателя и один из них я, примененная ко мне репрессия может сорвать учебный процесс в целом, но надо хотя бы понимать, что если уж я действительно бы корректировал бы огонь, то огонь был бы по крайней мере скорректирован, а они лупили в общежитие № 3, где нет ни одного военного объекта, а только беженцы из Отрадного, в чем нет вообще никакого смысла. Прошу досконально проверить все мое перемещение 23. 09 и в предыдущие дни, из чего станет ясно, что все это совершенно абсурдно».

«Жизнь прошла не зря мне есть чего вспомнить. Однажды в Сумах я в гостинице услышал звонок, предложили девушку, я спросил сколько, сказали триста за ночь и я согласился. Девушка вошла минут через пять лет восемнадцати, как мне показалось но опытная. Пикантные ножки подпирали упругую попку, чувственные пухлые губки были ярко но красиво намазаны. Тугая юная грудь натягивала ситцевое платье в двух местах. Аромат ее духов, мне прямо вскружил голову. Я подумал какова она будет в постеле, и она словно почувствовав мой вопрос, изогнула сначала одно бедро, потом другое. Потом как бы подразнив меня изгибом

она повернулась попойкой и снова изогнулась, но когда я протянул руки сказала «Нет, нельзя». Видимо в программу входило вот так покрутиться и показать себя со всех сторон, но вот она игривым движением пальцев чуть чуть приподняла подол короткого платья. Потом словно передумав она прошла в душ но словно передумав сняла сначала платье и осталась в чулках!!! Там было у нее все побрито. Белья кроме лифчика не было на ней никакого. Лифчик она сняла и бросила, он повис на люстре. Я лег на кровать и стал ждать. В душе она была минут пятнадцать показавшиеся мне вечностью и я думал уже, что же она моет там, так долго, а может быть просто справляет нужду включив воду чтобы не было слышно, и эта мысль возбудила меня так что я загорелся!!! Уже я не мог терпеть, когда она вышла забрав волосы в хвостик и подошла к кровати. Я потянулся к ней, но она опять сказала «Нет». Она надела на меня гондон и легла томно и приподняв колени, поставив слегка ноги на носочках, развернулась вся и сказала: «А теперь накажи девочку, понасилуй меня». Я бросился на нее как матрос вернувшийся из дальнего плавания!!! Она мяла мне яйца рукой а другой гладила по голове и я никогда не думал, что голова может быть таким эротическим местом. Она потом перевернулась и мне открылась аккуратная попка с перекадиной посредине и двумя прелесными ямками над бедрами. ООООО!!!! Я кончил головокружительно погрузившись глубоко в нее и никогда кажется не испытывал подобного. Расспрашивать про ее прежнюю жизнь мне казалось ненужно и мы выпили шампанского молча, она только улыбалась и немного играла моим Мальчиком пока он не вспрыгнул как шальной показывая что снова готов погружаться в прекрасные бездны».

«Я один владею тайной настоящего кругловского борща, я последний человек который знает эту тайну и я не хочу унести его в могилу. Я пишу здесь рецепт кругловского борща известный мне от моей бабушки, я не открыл его даже моей жене Серафиме Ходыревой, но здесь я его открою. Мы для начала сварим бульон на кости после чего там же варим несколько корней сельдерея. Свеклу мы пассируем и добавляем потом. Мы одновременно растапливаем на сковороде свиное сало которого нужно 5–6 кубиков. В салу поджариваем 1 луковицу репчатого лука. 3 черпака бульона вливаем в сковороду. Туда же соломкой режем свеклу и добавляем полложки уксуса. Ммм-объяденье! И мы потом тушим все это ½ часа. Потом мы в бульон кладем 1 чайную ложку томатной пасты. Все это ложь что мужчины не любят готовить. Я этот борщ варил на свадьбу дочери и потом каждый год когда она приезжала. Как хорошо что девочка живет в Нет я не скажу где живет девочка. Но что же мы делаем потом? Я этого тоже не скажу. Если вы сохраните мне жизнь то я это скажу. Но если вы сделаете эту ужасную глупость то никто не узнает рецепт Кругловского борща и он умрет как вересковый мед.

7. 30. Вот пришли. Но я дописываю. Я дописываю. Я дописываю чтобы не умер рецепт. Кардамон! Никто не кладет кардамон а весь вкус в кардамоне. Кардамон!»

«Дорогой мальчик, надеюсь, что это письмо тебе покажут. Если ты его читаешь, значит, ничего не поделаешь. Мне все время казалось, что я провожу с тобой мало времени, и я никогда не знал, что тебе сказать, а ты ни о чем не спрашивал. Теперь я должен сказать тебе что-то главное, но опять не знаю что. Во-первых, все это скоро кончится. По-настоящему это должно было со мной случиться уже давно, и я ждал спокойно. Теперь, когда они добрались до меня, все уж точно закончится. Мне иногда кажется, что только ради меня это все и затевалось. Думай так иногда – не про меня, конечно, а про себя. Так гораздо легче.

Я не могу тебе дать никакого совета, потому что ты уже взрослый, тебе шестнадцать лет, это не так мало. Я знаю, что все у тебя будет хорошо, ты умеешь нравиться людям и ничего для этого не делаешь. Я ни разу не говорил с тобой откровенно, но ты и так все понимаешь, только поэтому, сын, только поэтому. Ты умный, добрый мальчик, прости, что я иногда требовал от тебя больше, чем давал. Я опять совсем не знаю, что тебе сказать. Есть, наверное, какой-то

один главный совет, но даже сейчас я не могу его тебе дать. Как раз перед самым концом ничего не успеешь понять, особенно в этой не очень приятной комнате. Но ведь и вообще ничего не успеваешь понять. Все время есть ощущение, что за всем стоит какая-то правда, все чувствуют ее, а назвать никто не может. Береги маму, вот и все, что можно сказать. Тебе скажут, что я возглавлял подполье. Ты не поверишь, и очень напрасно. Я действительно его возглавлял, просто ничего для этого не делал, но только это и есть настоящее подполье. И если тебя спросят, где отец, скажи, что он возглавлял подполье. Это так же верно, как то, что я твой отец Хвостинский».

«Я очень рад и хочу вам всем сказать что пошли вы все нах. Я сам бы никогда этого не сделал хотя всегда хотел. А теперь я могу сказать пошли вы все. Тут нечего делать! В этом вашем мире. Тут все всегда было тошно и гори все синим пламенем, и не стоите вы все того чтобы я тут жил. А скоро тут такое будет что вообще ничего не останется. Тут все гавно и мы и они, и америка гавно. И чем на работу ходить лучше вообще спать и не просыпаться. Я всю жизнь не высыпался и теперь высплюсь, а вы все будете тут подыхать и примерзать к кровати и топить другой кроватью. У вас скоро ни дров не будет ничего. И горите вы все и Бес и Нокиа и Аслан и вся остальная сволочь и все соседи. А вам спасибо я не буду больше на все это смотреть. Брат мой тоже сука и очень хорошо что я не буду на него больше смотреть. И не хочу смотреть на это все буду это писать до утра чтоб вы все знали как я не хочу смотреть не буду больше на все это смотреть».

«Ваня пишу только тебе а если кто еще это читает то прошу не надо. Надо последнюю просьбу уважать. Ваня одно только хочу тебе сказать что со Складаным никогда не было. Было до тебя с другими но с ним никогда не было. Когда ты тогда пришел то я не думала даже, я никогда бы не подумала даже про него. И скорей уж бы я корректировала огонь хотя я не корректировала огонь. Мне не то важно что убьют а что ты будешь так и думать что я жила со Складаным. Ваня когда ты ушел тогда я уже никогда не была спокойна. После тебя всякое было Ваня но не со Складаным. Со Складаным никогда не было. И я хочу чтобы ты знал хотя уже ты ушел. Ваня это как в песне поется У беды глаза зеленые. Слушай эту песню меня иногда вспоминай и знай что ничего не было».

«Мама, прощай, никого не любил, только тебя одну».

«Я уйду как ветер в поле
Я уйду без громких фраз
Хочу оказаться я на воле
Решило время все за нас
Живите как хотите сам решай
Я вам уж больше не советник точно
Я на рассвете прошепчу прощай
Как жаль что оказалось все непрочным
За все простите за плохое
Я говорю вам всем прощай
Расставание у нас простое
Если захочешь вспоминай».

«Вспоминается, как всегда, самое ненужное, но кроме меня, этого больше никто не помнит. Вспоминается, например, наш чертежник, он еще преподавал рисование, Игорь Николаевич, у него был сын, который умер от рака крови, и, значит, его не вспомнит больше никто. Выпускники наши все давно разъехались из Кругловки. Игорь Николаевич водил нас в походы. Он делал потом стенгазету. Он говорил не «мысль», а «мысль!», выходило очень смешно. В стенгазете была моя фотография с задумчивым видом, и он подписал: «Мысль!» Помнится еще, что на месте дома 14 по нашей улице была хлебная палатка и в ней торговал татарин почему-то Аркадий. Он, наверное, умер давно, он и тогда был очень старый. В ботаническом саду тоже была палатка, там продавали яблоки, которые там выросли, и девушка, которая их продавала, была молодая, Галя, добрая ко мне, всегда давала мне эти яблоки. Потом она умерла, сказали – от рака, и ее, наверное, тоже не помнит никто, и если я уйду и ничего не напишу, то значит от нее ничего не останется. Хотя зачем надо, чтобы оставалось? Еще я помню, что когда я стоял на балконе и смотрел, как все идут с работы, было зеленое небо над краем города, и было так грустно и прекрасно, как никогда потом, хотя я никогда не смогу объяснить, почему так было. Еще однажды, мне было лет пять, мать выкинула газету, не выкинула, а положила в мусорное ведро, в ведро она подкладывала газету, там была фотография негритенка, который приехал в Советский Союз, мне было очень жаль, что она его выбрасывает. Еще помню, что во дворе у нас была лазилка, стояла лет шесть, потом ее перекрасили, потом перенесли в соседний двор, потом она проржавела, и ее куда-то увезли, она была в виде пирамидки, а сверху две перекладины, чтобы подтягиваться. Еще я помню, что однажды я собирал для гербария листья, и какие-то мальчишки не из наших пристали и меня побили, и отец потом бегал три дня по всем окрестным дворам их выслеживал, побили сильно и ни за что, выкручивали руки. Я думаю теперь, что больше ничего особенно значительного не помню, остальное помнят все, а это только мое.

Еще помню, что у бабушки моей был когда-то ухажер Григорий Сыроусов, его, наверное, тоже не помнит никто.

Еще помню, что на доме напротив одно время было написано «Осторожно». Вот где-то я не послушался.

Еще помню, что у соседа была собака Коля рыжая, его потом увели куда-то».

Смирнов прочитал это и был жестоко разочарован. Ему было обидно даже не то, что собирались его расстрелять, а то, что из всей его затеи получилось вот такое. Он, видно, искал где-то не там.

И он крупно, каллиграфическим своим почерком, вывел:

«НЕИНТЕРЕСНО».

Хотел подписаться, но понял, что это слово будет лучшим итогом жизни. Гораздо полней, чем «Верховный комиссар Кругловки, кавалер ордена святой Варвары с мечами, бывший министр обороны республиканского правительства, почетный реставратор Военно-исторического общества».

Шанс

Драма в четырех сценах

СЦЕНА 1. Кабинет заведующего психиатрической клиникой в Портленде, штат Орегон.

ОТЕЦ ШЕРВУДА. Умоляю, доктор, скажите одно: есть ли шанс?

МИЛЛСТОУН, ВРАЧ. Безусловно есть. Я даже могу примерно сказать какой. Число внутренних личностей у вашего сына я оцениваю как семь, хотя возможно пробуждение новых, еще неизвестных нам сущностей. Первая вам хорошо знакома, это сам Шервуд, чистый, послушный мальчик, склонный к легкой меланхолии. Ему двадцать один год, он девственник, он увлекается Вагнером и живописью. Он любит Шейлу, прекрасно относится к вам и жалеет бездомных собак.

ОТЕЦ. Инвалиды! Он член общества по добровольному содействию...

МИЛЛСТОУН. Я в курсе, в курсе. Второй персонаж, к сожалению, тоже вам знаком. Это мексиканский беженец, двадцати шести лет, который оставил семью в городе Гуанахуато и подался на заработки. От тоски по жене он подстерег после работы официантку в кафе «Кубинские прелести» и схватил ее за кубинские прелести, но, на его несчастье, она оказалась бывшей баскетболисткой и обездвижила его, а потом вызвала полицию.

ОТЕЦ. Боже мой, никто из нас никогда не был в этом Говнохуато...

МИЛЛСТОУН. Я знаю, знаю. Именно поэтому ваш мальчик у нас, а не... Я подробно исследовал эту вторую личность. Он свободно чешет по-испански, причем именно на том диалекте, который практикуется в этой провинции. С ним беседовал лингвист из Сан-Диего, они мгновенно нашли общий язык.

ОТЕЦ. Шервуд изучал только французский...

МИЛЛСТОУН. Ну разумеется. Скажу более: Шервуд понятия не имеет о том... как бы сказать... сексуальном опыте, который есть у этого Альфонсо. Честно признаюсь, даже я узнал много нового. Альфонсо утратил невинность в девятилетнем возрасте.

ОТЕЦ. Но это невозможно.

МИЛЛСТОУН. Что вы хотите, Гуанахуато. Вы знаете, что я не трампист, но в идее насчет стены действительно что-то есть. Впрочем, Альфонсо появляется редко, и это еще цветочки. Исламский радикал Али – это действительно серьезно. Ему сорок три. Он моет ноги пять раз в сутки.

ОТЕЦ. У нас в роду никогда не было ничего подобного...

МИЛЛСТОУН. Он хочет убивать. Все очень серьезно. К счастью, я вовремя вскрыл эту личность. Теперь, как только Шервуд в шесть утра моет ноги, мы утраиваем надзор. Но здесь, сами понимаете, легко ошибиться. Мари Дебаж тоже регулярно моет ноги, и иногда мы связываем ее. Это наносит ей серьезную травму, а она и так много страдала. Она натурщица Энгра.

ОТЕЦ. Но Энгр умер.

МИЛЛСТОУН. Я в курсе! Она тоже. Энгр разбудил в ней живописный талант, и она сама стала рисовать; Энгр из ревности уничтожал ее этюды, при этом продолжал пользоваться ею как натурщицей, и не только, она пыталась отравиться кислотой, что вы хотите, Вторая империя! Она превосходно говорит по-французски и рисует...

ОТЕЦ. Да, да! Шервуд тоже рисует!

МИЛЛСТОУН. Но она рисует лучше, чем Шервуд. Скажу больше – по-французски она тоже говорит гораздо лучше. Шервуд понятия не имеет о тех вещах, которые для нее повседневность. И она... она знает про Энгра такое, о чем Шервуд не мог знать по определению.

Мари Дебаз, пожалуй, самая интересная собеседница из тех, кто населяет Шервуда, с ней может сравниться только граф Головин.

ОТЕЦ. К-куда?

МИЛЛСТОУН. Го-ло-вин, русский граф, вегетарианец, государственный. Требуется закрыть университеты, изгнать жидов и поляков, запретить женщинам образование. Скончался в 1878 году от апоплексического удара, узнав об оправдательном приговоре Вере Засулич.

ОТЕЦ. К-кого?

МИЛЛСТОУН. Вам это не нужно. Петербургская террористка, стрелявшая в градоначальника. Присяжные ее оправдали, и Головин потерял сознание прямо за завтраком. Кха, кха, и нет государственника. Зато борец за права белой расы датчанин Кристиан Зельд жив и прекрасно себя чувствует, хотя в Дании нет никакого Кристиана Зельда, мы навели справки. Однако он убежден, что проживает в Копенгагене, свободно ориентируется в городе и знает все клубы, где собираются его единомышленники. Он уверен, что христианская Европа теряет свою идентичность. Он требует, чтобы наша медсестра Айша Стренд, пакистанка, не прикасалась к нему.

ОТЕЦ. Он тоже моет ноги?

МИЛЛСТОУН. Зачем ему мыть ноги, он и так всегда чист. Белая раса. Честно говоря, отвратительный тип. Хуже Головина. А вот Чжан Ван Дуй – очень славный малый, с ним я люблю побеседовать, когда выдастся минутка. Это китайский писатель, автор пьесы «Ошибка Фуй Жуя». Во время культурной революции его лишили должности в университете, заставили каяться и сослали на сельхозработы. К сожалению, он не дожил до реабилитации и теперь со всем соглашается.

ОТЕЦ. Он говорит по-китайски?!

МИЛЛСТОУН. В том-то и дело, что нет. Это единственная загвоздка. Но он утверждает, что забыл китайский язык ровно с того момента, как ему запретили говорить и писать на нем. Он принял тогда обет молчания, чтобы ни в чем больше не расходиться с линией председателя Мао. Первое время он вообще не разговаривал, только кланялся и потирал шею. Дело в том, что его привязали к дереву и посыпали шею раскаленным песком – ну знаете, все эти китайские крайности... Но на сельских работах ему даже понравилось. Он любит трудиться в больничном саду. Сейчас он освоил английский – разумеется, в пределах начальной школы, но я его развиваю, пока не вмешивается Зельд. Зельд кричит, что незачем тратить время на желтую сволочь.

ОТЕЦ. Господи, но ведь в Шервуде никогда не было, близко не было ничего подобного...

МИЛЛСТОУН. Ну вы же знаете это multiple disorder. Билли Миллиган тоже был человек как человек, пока в нем вдруг не оказалось двадцать пять разных личностей, одна из которых ограбила аптеку, а другая совершила три изнасилования. Между прочим, насиловала как раз лесбиянка. Ей хотелось объятий.

ОТЕЦ. Простите, доктор Миллстоун...

МИЛЛСТОУН. Чарльз, Чарльз. Мы ведь теперь оба как бы родители... всех этих разновозрастных деток...

ОТЕЦ. Чарльз, я ни на секунду не сомневаюсь в вашей компетенции. Но ведь в случае Миллигана... и еще этой...

МИЛЛСТОУН. Ширли Алдерз Мейсон.

ОТЕЦ. Да, да! Я читал. Там, во-первых, ничего окончательно не доказано...

МИЛЛСТОУН. Фрэнк. Поверьте мне. Я изучал этот случай очень вдумчиво. Этот и дюжину других. Можно имитировать самые разные расстройства, но множественная личность – это множественная личность. Я мог бы вам прочесть небольшую лекцию, но зачем? В самых общих чертах: мы не знаем, что запускает эту... эту патологию. Вероятно, в каждом из нас

изначально живет не одна личность, но мы понятия о них не имеем; или кто-то один – некий Чарльз Миллстоун – так блокирует всех, что они и голоса не подают.

ОТЕЦ. Погодите. У меня в детстве тоже были вымышленные друзья. Я допускаю, что у Шервуда... есть некоторые особенности развития. Он одинок, он не интересуется спортом, он много читает. И я, знаете, в школе... вместо одноклассников... я выдумывал себе целую команду, у них были биографии, и клянусь, иногда в драке я звал на помощь самого сильного, и он как бы заполнял меня изнутри...

МИЛЛСТОУН. Вымышленные друзья – это совсем иное. Ваши вымышленные друзья не знали испанского. Они не изучали русское государственное право. Они понятия не имели о китайских зерновых культурах. И наконец – в случае Миллигана тоже были очень серьезные сомнения. Было доказано, что он начал вытеснять воспоминания после того, как его изнасиловал отчим...

ОТЕЦ. Чарльз, я клянусь вам жизнью сына...

МИЛЛСТОУН. Да ну что вы, в самом деле! В том-то и дело, что у Шервуда в детстве я не вижу никакой травмы. Ну просто... видите ли... есть целая ассоциация христиан-психологов, для которых все просто: они считают, что это подселяются разные бесхозные души. Не нашли упокоения и вот стучатся. Есть другие объяснения – что актуализуется генетическая память. Во многих странах – в Аргентине, в Китае, в России – в такое вообще не верят... То есть там, конечно, Миллигана никто бы не выпустил.

ОТЕЦ. Жестокие нравы.

МИЛЛСТОУН. Не в том дело. Там такие режимы, что – как бы сказать? – это просто является нормой. Человек дома говорит одно, на службе другое, с соседом третье. Там у всех множественные личности, и это не считается патологией. Я знал одного русского, и там он был дурак дураком, а здесь оказался очень сообразительным, потому что здесь бы не выжил дурак, а там – умный. Просто звали его одинаково. Хотя знаете... У них же постоянно в ходу псевдонимы. Я уверен, что тихий юрист Ульянов никогда бы не вытворил того, что делал этот их Ленин. А эти двое, ну вы слышали – Баширов и Петров... Они на самом деле были Кошкин и Мышкин. И Кошкин с Мышкиным не могли бы никого отравить, а с другими именами запросто.

ОТЕЦ. Ну тут-то понятно. Тут профессия требует. Но Шервуд... Шервуд никогда...

МИЛЛСТОУН. Боюсь, что в случае Шервуда спусковым крючком послужило одиночество, и он не то что выдумал, а прислушался... И теперь, когда он выпустил этих демонов, они страшно осложняют ему общение. Его проблема с Шейлой – только в этом, в остальном они были бы, честное слово, лучшей парой, которую я наблюдал в этой клинике.

ОТЕЦ. А у Шейлы... сколько у Шейлы...

МИЛЛСТОУН. Вот понимаете – в том-то и дело. Я не знаю, сколько у Шейлы. Иначе подсчитать шанс на их счастливый брак было бы легче легкого – перемножили всех этих персонажей, взяли процент, и дело с концом. Но Шейла, во-первых, здесь недавно. Во-вторых, у нее они плодятся как кролики. Если бы одна девочка, вдобавок с весьма обыкновенным IQ, могла выдумать столько народу, – она была бы гениальным писателем. Но увы, ей просто неоткуда взять и нечем прокормить эту ораву. Я не могу вам даже примерно перечислить ее запас, но для начала...

Затемнение.

СЦЕНА 2. Садик клиники. По углам, скрестив руки, вдумчиво наблюдают санитары. К центральной клумбе нерешительно приближаются миловидные Шервуд и Шейла.

ШЕРВУД (с сильным испанским акцентом). Послушай, девушка, ты хочешь вечером делать трах-бах?

ШЕЙЛА (с энтузиазмом). Откуда ты знаешь?

ШЕРВУД. Я просто подумал... я всегда хочу сделать трах-бах!

ШЕЙЛА (пылко). Я тоже! Я тоже всегда хочу сделать трах-бах!

ШЕРВУД. Но тогда чего мы ждем?

ШЕЙЛА. Мы ждем удобного случая.

ШЕРВУД. Но вот же удобный случай!

ШЕЙЛА. Нет. Он еще не пришел.

ШЕРВУД. Кто же?

ШЕЙЛА. Главный тиран. Тот, кто держит нас здесь. Эта белая сволочь.

ШЕРВУД. Но зачем же нам он? Разве мы не можем без него?

ШЕЙЛА. Ты что, тупой? Я хочу увидеть, как эта белая гадина разлетится на части, и пусть даже это будет последнее, что я увижу, – я хочу, чтобы на мое лицо упали его кишки.

ШЕРВУД. Но разве... разве если мы сделаем трах-бах, с ним может случиться такое?!

ШЕЙЛА. Если мы хорошо... если мы правильно сделаем трах-бах...

ШЕРВУД (горячо заинтересован). Как же это?

ШЕЙЛА. Три части динамита, две части селитры, одна часть алюминиевых опилок, одна часть древесного угля, особенно хорошо набить коробку железными гайками!

ШЕРВУД. Я никогда так не пробовал.

ШЕЙЛА. Где тебе! Ты глупый белый мужчина, а я черная пантера из Нью-Йоркской пятерки!

ШЕРВУД (с внезапным русским акцентом). А, вот оно! Вот оно! Вот они, женские курсы, короткие стрижки, суды присяжных! Вот они, господин Тургенев и прочие, ваши гегелисты и нигилисты! Вот они, ваши либеральные реформы и студенческие кружки! Я говорил, я знал, что скоро они начнут проповедовать на улицах.

ШЕЙЛА. Господь мой пастырь, и я буду проповедовать везде, где пройду.

ШЕРВУД. Вы не пройдете нигде, пока я жив и служу государю.

ШЕЙЛА. Государь мой в небесах, а я смиренный монах-францисканец и научу любви всех, кто мне встретится, включая клопов травяных и птиц небесных. Сестрица моя птица, братец мой клоп! Посмотрите, сама природа радуется, и эти четыре дуба ликуют! (Кивает на охранников.)

ШЕРВУД. Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед пророк его. Ваш мир разорен потреблением и пресыщен грехом, но в руках моих меч карающий.

ШЕЙЛА. Не тронь меня, гордый человек, я бедный рыбак с острова Хоккайдо времен императора Кейндзю, каждый день забрасываю я сети и вытаскиваю лишь несъедобную рыбу фугу, от одного лицезрения которой немеет язык и холодеют конечности. Пощади меня, жестокий сборщик податей, мне нечего сегодня дать тебе.

ШЕРВУД (встряхивая головой и как бы приходя в себя). Слушай, Шейла. Я не всегда владею собой и не всегда помню, где я. Но сейчас, мне кажется, я настоящий, и я люблю тебя, люблю тебя, Шейла! Мне кажется, если ты останешься со мной, мы навсегда будем такими, как надо! Это наш шанс, Шейла, не отворачивайся... (Пытается поцеловать ее.)

ШЕЙЛА (визжит). О, жестокий сборщик податей! Неужели хочешь ты совокупиться с бедным рыбаком? Мне нечего больше дать тебе! (Рыдает.)

Шервуд настаивает, Шейла отбивается, охранники растаскивают их.

СЦЕНА 3. Кабинет Миллстоуна. Миллстоун, Шервуд.

ШЕРВУД. Доктор, вот сейчас я вполне принадлежу себе. Но не понимаю, как закрепиться в этом состоянии.

МИЛЛСТОУН. Я тоже совсем не понимаю этого, друг мой. Но неотступно думаю над этим. Мне кажется, нужно всего лишь найти тот крючок, который всегда будет вытаскивать из

вас эту правильную личность. Ту, на которую вы безошибочно будете отзываться. И клянусь, я сделаю это, но вы должны мне помочь.

ШЕРВУД. Я готов, но для этого мне нужна Шейла. Поймите, таких совпадений не бывает! Она мой идеал во всем, от роста до голоса, и это настоящее чудо, что у нее тот же диагноз. Подумать только, если бы не наша болезнь, мы могли бы не встретиться!

МИЛЛСТОУН. Шервуд. Я не могу заставить ее...

ШЕРВУД. Я уверен, что если бы мне удалось докричаться до нее, она бы ответила. Но я застаю ее то черной террористкой, то странствующим факиром, то престарелым ветераном вермахта, то канадским золотоискателем...

МИЛЛСТОУН. Что вы хотите, Шервуд. Это так естественно. Женщина... хоть это, конечно, и сексизм... но я врач и должен называть вещи их именами. Женская душа гораздо менее способна к сопротивлению, и потому она доступнее... Вспомните, ведь и большинство случаев одержимости... когда эти безумные монахи изгоняли бесов, а речь шла всего лишь о средневековых проявлениях multiple disorder.

ШЕРВУД. Я уверен, она потянулась бы ко мне. Но я всегда являюсь к ней в каком-то ужасном обличье. То арабский террорист, то русский государственный...

МИЛЛСТОУН (сдерживая смех). Простите, Шервуд, но это в самом деле очень... ха-ха... забавно. Русский государственный совокупляется с канадским золотоискателем – это бы еще куда ни шло, но Мари Дебаж отдается радикальной афроамериканке...

ШЕРВУД (улыбается против воли). Я бы тоже посмеялся, доктор. Но ведь это ужасно – что мы крутимся, как зубчатые колеса, и никак не можем сцепиться. Как нам оказаться в нужной фазе?

МИЛЛСТОУН. Есть одна идея. По крайней мере, относительно вас. Вы легко сможете удерживаться в состоянии Шервуда, если запомните самую постоянную вашу эмоцию. Мне кажется, я о ней догадался. Заметьте, она примерно одинакова для всех персонажей, в которых вы перевоплощаетесь, но главный ее носитель – именно Шервуд. И есть надежда, что если во время одного из ваших свиданий я появлюсь перед вами и произнесу ключевые слова, вы вернетесь к себе, а Шейла – к себе. Но эти эмоции у мужчин и женщин, увы, разные. Так что мне придется подобрать к вам различные ключи.

ШЕРВУД. Но когда же, доктор? Я изнемогаю!

МИЛЛСТОУН. Терпение, Шервуд. Это случится скоро. Но не факт, что вы будете мне благодарны.

ШЕРВУД. А если ты сделаешь что-нибудь не так, презренный врачешка, Аллах подвесит тебя за самые яйца...

МИЛЛСТОУН (нажимая звонок). Обязательно, обязательно.

ШЕРВУД (уводимый санитарами). Самодержавие, православие, виселица!

СЦЕНА 4. Больничный садик. Шейла и Шервуд.

ШЕРВУД. Презренная распутница, женщина из потребительского ада, набрось паранджу и устыдись.

ШЕЙЛА. Гнусная белая тварь, закрой свою вонючую сексистскую пасть.

ШЕРВУД. Я действительно много заблуждался, но партия выкорчевала мои заблуждения.

ШЕЙЛА. Смилуйся надо мной, благородный разбойник, ибо все мое имущество – этот посох и портянки.

ШЕРВУД. Если повесить каждого второго жида и каждого третьего поляка, у России будет двадцать лет спокойного развития, и тогда мы раздавим Англию за неделю. (Порывается раздавить Англию. Англия сопротивляется.)

ШЕЙЛА. Садись, два, и не смей являться без родителей.

Входит МИЛЛСТОУН.

МИЛЛСТОУН. Шейла, я принес вам печальное известие.

ШЕЙЛА. Что еще может опечалить бедного самурая, лишившегося своего господина?

МИЛЛСТОУН. Кое-что может. Шейла, Боб Флит расстался с вашей однокурсницей, она его бросила, он выбросился из окна, сломал ногу и не сможет больше играть в футбол.

ШЕЙЛА (после долгой паузы). Черт бы вас всех побрал. Где я нахожусь?

МИЛЛСТОУН. Вы среди друзей, в больнице, все хорошо, вас скоро выпишут.

ШЕЙЛА. Понимаете, док... Мне казалось, что больше уже ничто не тронет меня прежнюю. Даже если бы он вернулся, понимаете? Мне уже не надо, чтобы он возвращался. Но меня, оказывается, все еще радует его несчастье. Причем если бы он умер... тогда мне неловко было бы радоваться. Но если он не сможет больше играть в футбол, это прекрасно. И это меня еще радует. Черт бы вас побрал, док, вы достучались. А это кто?

МИЛЛСТОУН. Думаю, это ваш будущий муж.

ШЕЙЛА. Ничего себе мальчик, вполне в моем вкусе.

ШЕРВУД (с мексиканским акцентом). Я был мальчиком, сучка, когда твоя мать мочилась в штаны.

ШЕЙЛА. Что это с ним, док?

МИЛЛСТОУН. Минутку. Сейчас мы и его обработаем. Зря я, что ли, три дня готовился? Шервуд, поймите, она любит не вас. Она всегда любила другого. Все они всегда любят других, а нас – никогда. Мы всегда не те, поймите это наконец.

ШЕРВУД (после паузы). Спасибо, доктор. А ведь я догадывался.

МИЛЛСТОУН. Конечно, ведь вы всегда это знали. Это и есть самое сокровенное знание, которое есть у вас в душе.

ШЕЙЛА. Что вы несете, док? С какой стати?

МИЛЛСТОУН. Молчите, Шейла. Дайте ему прийти в себя. Ведь они все это знали – и араб, и мексиканец...

ШЕРВУД (приходя в себя). Шейла!

ШЕЙЛА. Слава богу, это ты! (падает в его объятия).

ШЕРВУД. Ваше императорское величество!

ШЕЙЛА. Мой взрыватель!

ШЕРВУД. Моя гурия, моя пери!

ШЕЙЛА. Моя рыба фугу!

ШЕРВУД. Председатель, мой председатель!

ШЕЙЛА (страстно). Ненавижу тебя, насильник, плагиатор, чертов Энгр, ненавижу!

ШЕРВУД. И я тебя! И я тебя!

Занавес, но и за занавесом продолжают страстные крики подчинения и обладания на разных языках.

Сон о Гоморре

Ибо милость твоя – казнь, а казнь – милость...

В.Н.

1

Вся трудность при общении с Богом – в том, что у Бога много тел; он воплощается во многом – сегодня в белке захотел, а завтра в кошке, может стать, а завтра в бабочке ночной – подслушать ропот святотатца иль стовор шайки сволочной... Архангел, призванный к ответу, взгляделся в облачную взвесь: направо нету, слева нету – а между тем он явно здесь. Сердит без видимой причины, Господь раздвинул облака и вышел в облике мужчины годов примерно сорока.

Походкой строгою и скорой он прошагал по небесам:

– Скажи мне, что у нас с Гоморрой?

– Грешат в Гоморре...

– Знаю сам. Хочу ее подвергнуть мору. Я так и сяк над ней мудрил – а проку нет. Кончай Гоморру.

– Не надо, – молвил Гавриил.

– Не надо? То есть как – не надо? Добро бы мирное жулье, но там ведь главная отрада – пытатель терпение мое. Грешат сознательно, упорно, демонстративно, на виду...

– Тогда тем более позорно идти у них на поводу, – архангел вымолвил, робея. – Яви им милость, а не суд... А если чистых двух тебе я найду – они ее спасут?

Он замер. Сказанное слово повисло в звонкой тишине.

– Спасут, – сказал Господь сурово. – Отыщешь праведника мне? Мое терпенье на пределе. Я их бы нынче раскроил, но дам отсрочку в три недели.

– Ура! – воскликнул Гавриил.

2

В Гоморре гибели алкали сильнее, чем прибыли. Не зря она стояла на вулкане. Его гигантская ноздря давно чихала и сопела. Дымы над городом неслись. Внутри шкворчала и кипела густая, яростная слизь. В Гоморре были все знакомы с глухой предгибельной тоской. Тут извращали все законы – природный, Божий и людской. Невинный вечно был наказан, виновный – вечно горд и рад, и был по улицам размазан неистощимый липкий смрад. Последний праведник Гоморры, убогим прозванный давно, уставив горестные взоры в давно не мытое окно, вдыхал зловонную заразу, внимал вулканные шумы (забыв, что должен по заказу пошить разбойнику штаны) – и думал: «Боже милосердный, всего живущего творец! Когда-то я, твой раб усердный, узрю свободу наконец?!»

Меж тем к нему с благою вестью спешит архангел Гавриил, трубя на страх всему предместью: «Я говорил, я говорил!» Он перешагивает через канавы, лужи нечистот, – дома отселяют, щерясь, как он из всех находит тот, ту захудалую лачугу, где все ж душа живая есть: он должен там толкнуть речугу и изложить благою весть. А между тем все ниже тучи, все неотступней Божий взгляд, все бормотливей, все кипучей в жерле вулкана дымный ад... Бурлит зловонная клоака, все ближе тайная черта – никто из жителей, однако, не замечает ни черта: чернеет чернь, воруют воры, трактирщик поит, как поил...

– Последний праведник Гоморры! – трубят архангел Гавриил. – Достигнуты благие цели, сбылись заветные мечты. Господь желает в самом деле проверить, праведен ли ты, – и если ты и вправду правед (на чем я лично настою) – он на земле еще оставит тебя и родину твою!

Последний праведник Гоморры, от светоносного гонца услышав эти приговоры, спадает несколько с лица. Не потому он прятал взоры от чудо-странника с трубой, что ждать не ждал конца Гоморры: конца Гоморры ждал любой. Никто из всей продажной своры, давно проклявшей бытие, так не желал конца Гоморры, как главный праведник ее. Полупроглочен смрадной пастью, от омерзенья свившись в жгут, он ждал его с такою страстью, с какой помилованья ждуг. Он не был добр в обычном смысле: в Гоморре нет добра и зла, все добродетели прокисли, любая истина грязна. Он, верно, принял бы укоры в угрюмстве, злобе, мандраже – но он был праведник Гоморры, вдобавок гибнущей уже. Он не грешил, не ведал блуда, не пил, не грабил, не грубил, он был противник самосуда и самосада не любил, он мог противиться напору любых соблазнов и свиней – но не любил свою Гоморру, а сам себя еще сильнее. Под сенью отческого крова, в своем же собственном доме – он натерпелся там такого, что не расскажешь никому. Любой, кто срыл бы эту гору лжецов, садистов и мудил, – не уничтожил бы Гоморру, но, может быть, освободил. Здесь было все настолько гнило, что, копошась вокруг жерла, она сама себя томила и жадно гибели ждала. Притом он знал (без осуждения, поскольку псы – родня волкам), что сам участвует с рожденья в забаве «Раздразни вулкан». Он был заметнейшим предлогом для святотатца и лжеца, чтобы Гоморра перед Богом разоблачилась до конца, и чистота его, суровой, чем самый строгий судия, – была последним из условий ее срамного бытия. На нем, на мальчике для порки, так отразился весь расклад, что никакие отговорки не отвратили бы расплат, и каждый день его позора, и каждый час его обид был частью замысла: Гоморра без праведника не стоит.

Несчастный праведник не в силах изречь осмысленный ответ. На сколько лет еще унылых он осужден? И сколько лет его мучителям осталось? Так он молчит перед гонцом. Невыносимая усталость в него вливается свинцом. Ответить надо бы любезно, а ночь за окнами бледна... Все говорили: бездна, бездна, – на то и бездна, что без дна. Светает. Небо на востоке в кровавых отсветах зари.

– Какие он наметил сроки?

– Он говорил, недели три.

И, с ободряющей улыбкой кивнув гоморрскому тельцу, архангел серебристой рыбкой уплыл к небесному отцу. Убогий дом сотрясся мелко, пес у соседей зарычал, а по двору скакала белка. Ее никто не замечал.

3

Но тут внезапно, на пределе, – утешен он и даже рад: возможно и за три недели так нагрешить, что вздрогнет ад! Душа погибнет? Хватит вздора! Без сожаления греша. За то, чтоб сгинула Гоморра, не жалко собственной души. На то, чтоб мерзостью упиться, вполне довольно двух недель; и праведник-самоубийца идет, естественно, в бордель.

Ночами черными в Гоморре давно орудует злодей, случайным путникам на горе; один из тех полулюдей, что убивают не для денег, а потому, что любят нож, и кровь, и дрожь, и чтобы пленник подольше мучился. Ну что ж, подумал муж суров и правед. Пусть подойдет. Уже темно. Он от греха меня избавит и от Гоморры заодно. Жалеть пришлось бы о немногом, руки в ответ не подниму...

Однако тот, кто взыскан Богом, не достается никому.

...Застывшей лавою распорот, как шрамом, искажившим лик, – тут прежде был великий город. Он был ужасен, но велик. Его враги ложились прахом под сапоги его солдат. Он наводил округу страхом каких-то двести лет назад, но время и его скосило. Ошиблись лучшие

умы: нашлась и на Гоморру сила сильней войны, страшной чумы. Не доброхоты-миротворы, не чистота и новизна – увы, таков закон Гоморры: зло губят те, кто хуже зла. То, что казалось прежде адом, попало в горшную беду и было сожрано распадом: десятый круг – распад в аду. При виде этого оскала затихла буйная орда: бывшее зло казаться стало почти добром... но так – всегда. Урод, тиранствовавший рьяно, был дважды туп и трижды груб, но что ужаснее тирана? Его непогребенный труп. Любой распутнице и стерве дают пятьсот очков вперед в ней расплодившиеся черви, что станут править в свой черед. Сползут румяна, позолота – и воцарится естество: тиран еще щадит кого-то, а черви вовсе никого. Над камнем, лавою и глиной с мечом пронесся Азраил. Гоморра вся была руиной и состояла из руин. Он думал, тихо опечален пейзажем выжженной земли, что и в аду полно развалин – их там нарочно возвели. Слетит туда душа злодея, невосприимчива ко лжи, оглянется: «Куда я? Где я? Не рай ли это был, скажи?» – и станет с пылом тараканьим искать следы былых утрат, и будет маяться сознанием, что все в упадке, даже ад. А все сначала так и было – кирпич, обломки, стекла, жесь, – бездарно, дешево и гнило, с закосом под былую честь.

Что ж, привыкай к пейзажу ада – теперь ты катишься туда. Мелькнуло: «Поверни, не надо», – но он ответил: «Никогда! Еще на век спасать Гоморру? Ее гнилые потроха?» И он упрямо перся в гору, поскольку труден путь греха.

Сгущалась тьма. Гора дрожала, громов исполнена и стрел.

(И кошка рядом с ним бежала, но он на кошку не смотрел.)

4

Бордель стоял на лучшем месте, поправ окрестную скудель. Когда-то, лет тому за двести, там был, конечно, не бордель, но даже старцы-ветераны забыли, что таилось тут. Быть может, прежние тираны вершили здесь неправый суд, иль казначей считал убыток за неприступными дверьми, иль просто зданием для пыток служил дворец – поди пойми. Следы величия бывшего тут сохранялись до сих пор: над входом выбитое слово – не то «театр», не то «террор» (язык титанов позабылся); еще ржавели по углам не то орудия убийства, не то декоративный хлам. Кольцо в стене, петля, колода, дубовый стол, железный шкаф... Теперь, когда пришла свобода, все это служит для забав весьма двусмысленного рода. Угрюмый местный идиот весь день слоняется у входа, гнусит, к прохожим пристаёт... Ублюдок чьей-то давней связи, блюдя предписанный канон, законный ком зловонной грязи швыряет в праведника он: беднягу все встречали этим – он только горбился, кряхтя. Швырять предписывалось детям. Дебил был вечное дитя.

«Кто к нам пожаловал! Гляди-ка!» – орет привратник у дверей. Раскаты хохота и крика, осипший вой полузверей, безрадостно грешащей своры расчеловеченная слизь: «Последний праведник Гоморры! Должно быть, руки отнялись, что он явился в дом разврата?» – «Ну, если так, всему хана: на нас последние, ребята, накатывают времена! Теперь поспразднуем в охотку, уж коли скоро на убой. Хозяйка! Дать ему Красотку. Пускай потешится с рябой!»

В углу побоев огребала от неизвестного бойца широкая тупая баба с кровоподтеком в пол-лица. Он бил расчетливо, умело, позвали – рявкнул: «Не мешай!» Ее потасканное тело коростой покрывал лишай – не то парша, не то чесотка, но ведь в аду безгласных нет... Ее окликнули: «Красотка! Веди клиента в кабинет». Боец оглядывался, скалясь: «А что? Иди... не то б пришиб...» (Барать старух, уродиц, карлиц – был фирменный гоморрский шик.) Она, пошатываясь, встала, стянула тряпки на груди – и человеческое стадо завывало: «Праведный, гляди!»

...В углу загаженной каморы валялась пара одеял. Последний праведник Гоморры в дверях потерянно стоял. На нем висевшая Красотка его хватала между ног – но он лишь улыбался кротко и сделать ничего не мог. Она обрушилась на ложе, как воин после марш-броска, – и на ее широкой роже застыла смертная тоска.

По потолку метались тени. Героя начало трясти. Он рядом сел, обняв колени, и блекло вымолвил: «прости». Тут даже стены обалдели от потрясения основ: ни в доме пыток, ни в борделе таких не слыхивали слов. Вдали запели (адским бесам не снился этакий разброд). Она взглянула с интересом в его лицо: он был урод, но в нем была и скорбь, и сила. Он был как будто опален. «Прости?» – она переспросила. «Ну да, прости», – ответил он. Она в ответ, с улыбкой злобной, хмельной отравой дыша: «Ты что ж – с рожденья неспособный иль я тебе нехороша?» Помедлив меж двумя грехами – солгать иль правдой оскорбить, – он молвил: «Хороша, плоха ли... И я в порядке, может быть, да разучился. Так бывает. С семьей форменный завал, жена другого добывает...» (про это, кстати, он не врал). Ах, если б пристальный свидетель ему сказал: «Не суйся в грех – он труден, как и добродетель, и предназначен не для всех!» «Ушла давно?» – «Четыре года как ни при ком не состою». И начал он без перехода ей жизнь рассказывать свою – в надежде, может быть, утешить... Но тут, растрогавшись спьяна, «Нас всех бы надо перевешать!» – провыла яростно она. Ее рыдания были грубы, лицо пестро, как решето. «Ну да, – промолвил он сквозь зубы, – да, вишь, не хочет кое-кто!» – «Кто-кто?» Ответить он не в силе. И как в борделе скажешь «Бог»? О Боге здесь давно забыли, а объяснить бы он не мог.

Они заснули на рассвете. Во сне тоска была лютей. Вошел охранник: «Спят, как дети!» – и пнул разбуженных детей. С утра Красотке было стыдно. Она была бы хороша или хотя бы миловидна, когда б не грязь и не парша. Хоть ночь у них прошла без блуда, была уплачена цена. «Возьми, возьми меня отсюда! – проняла жалобно она. – Здесь то помои, то побои, дерьмо едим, отраву пьем... Приходят двое – бьют обои, приходят трое – бьют втроем...» Он встал – она завывала снова: «Возьми меня! Подохну я!» Он дал хозяйке отступного и так остался без копыя. Она плелась по грязи улиц к его убогому жилью, и все от хохота рехнулись, смотря на новую семью.

Красотка толком не умела убрать посуду со стола, зато спала, обильно ела и с кем ни попадя пила. Назад в бордель ее не брали, не то сбежала бы давно. Он ей не мог читать морали и начал с нею пить вино: уж коли первая попытка накрылась, грубо говоря, – он хоть при помощи напитка грешить надеялся... но зря. Он пил, в стремлении упорном познать злонравия плоды, – все тут же выходило горлом: желудок требовал воды. Срок отведенный быстро прожит – а он едва успел понять, что и грешить не всякий может, и поздно что-нибудь менять. Он пнул собаку – но собаки людских не чувствуют обид. Он дважды ввязывался в драки – и оба раза был побит. Со смаком, с гоготом, со славой он был разделан под орех – а идиот, кретин слюнявый, над ним смеялся громче всех. Хотел украсть белье с веревки – в кутузку на ночь загремел (хищенье требует сноровки, а он и бегать не умел). Он снова пробовал: тверды ли границы Промысла? Тверды. Погрязнуть силялся в гордыне – опять напрасные труды: он ненавидел слишком, слишком, упрямо, мрачно, за двоих – себя, с уклончивым умишком, с набором странностей своих, с бесплодным поиском опоры, с утратой всех, с кем был родстве, – и все равно с клеймом Гоморры на каждой мысли, каждом сне. Он поднимал, смурной и хворый, глаза в проклятый небосвод – и видел: туча над Гоморрой уже неделю не растет, и даже съежилась, похоже... и стал бледнеть ее свинец...

О Боже, молвил он, о Боже.

И вот решился наконец.

(Покуда он глядел устало в зловонно пышущую тьму – под крышей бабочка летала, но не до бабочек ему.)

5

Тут надо было без помарок. Сорваться – значит все обречь. Был долог день, и вечер жарок, и ночь за ним была как печь. Он шел по улицам Гоморры, сдвигаясь медленно с ума; смотрел на черные заборы и безответные дома. Нигде не лаяли собаки и не скрипело колесо – и

это тоже были знаки, что в эту ночь решалось все. Он шел и чувал это кожей; шатаясь, шел, как по воде... Однако ни один прохожий ему не встретился нигде. Маньяка, что ли, опасались – он становился все наглей, – а может, просто насосались (была гулянка, юбилей – давно истратив и развеяв остатки роскоши былой, тут не могли без юбилеев). Тая оружие под поллой, он шел, сворачивал в проулки, кружился, не видал ни зги, – и в темноте, страшны и гулки, звучали лишь его шаги.

И лишь уже перед рассветом, под чьим-то запертым окном, в неостывающем, прогретом, зловонном воздухе ночном мелькнуло нечто вроде тени. Он вздрогнул и замедлил шаг. Ходили ходуном колени и барабанило в ушах. По темной улице горбатой, прижавшись к треснувшей стене, сливаясь с нею, брел поддатый. Убить такого – грех вдвойне. Ну что же! По моей-то силе сгодится мне как раз такой... Он вспомнил все, что с ним творили, чтобы недрогнувшей рукой ударить в ямку под затылок. Нагнал. Ударил раз, другой – и пьяный, точно куль опилок, упал с подогнутой ногой.

Как странно: он не чувал дрожи. Кого ж я это? Видит Бог, такой тупой, поганой рожи и дьявол выдумать не мог. Ни мысли в помутневшем зоре, широкий рот, звериный лоб... А что я думал – что в Гоморре иное встретиться могло б? И что теперь? Теперь уж точно поглотит нас кровавый свет. Теперь в Гоморре все порочно. В ней больше праведника нет. Он поднял голову. Напротив стоял урод, согбен и мал, и плакал, рожу скосоротив, как будто что-то понимал. И здесь же, около кретина – к плечу плечо, к руке рука, – стоял неведомый мужчина годов примерно сорока.

– Се вижу праведного мужа! – он рек, не разжимая губ. – Все плохи тут, но этот хуже. – Он указал на свежий труп. – Се гад, хитер и перепончат, как тинный житель крокодил. Я думал сам его прикончить, но ты меня опередил. Теперь мараться мне не надо. Се пища ада, бесов снесь. Невыразимая отрада – живого праведника зреть. Ты спас родное государство от неизбежного конца. Кого убил ты – догадался?

– Того, злодея?

– Молодца. Хвалю тебя, ты честный воин. Ступай домой, попей вина и с этой ночи будь спокоен: твоя Гоморра спасена.

– Я спас Гоморру. Вот умора, – промолвил праведник с тоской. – Люблю тебя, моя Гоморра, зловонный город нелюдской! Руины, гной, помои, бляди, ворье, жулье, гнилье, зверье... Уж одного меня-то ради щадить не надо бы ее. За одного меня, о Боже?! Ведь тут грешили на износ...

– За одного? А это кто же? – Господь с улыбкой произнес. Он указал на идиота и бодро хлопнул по плечу: – Увидел праведника? То-то. Что скажешь мне?

– Молчу, молчу...

– Да не молчи, – сказал Он просто. – С тех пор, как создан этот свет, все ждут разгрома, холокоста, конца времен... А вот и нет. Все упиваются распадом, никто не пашет ни хрена, все мнят, что катастрофа рядом и все им спишет, как война. Я сам сперва желал того же: всех без остатка, как котят... Но тут сказал себе: о Боже! Они же этого хотят! Сбежать задумывают, черти, мечтают быть хитрей небес! Бывает жизнь и после смерти, и в ней-то самый интерес. Нет, поживи еще, Гоморра. Успеешь к Страшному суду. Не жди конца, конец не скоро. Меж тем светает. Я пойду.

Он удалялся вниз по склону, и мрак, разрежен и тесним, поблекнул в тон его хитону и удалялся вместе с ним, – а праведник сидел у трупа, и рядом с ним сидел дебил. Герой молчал, уставясь тупо вослед тому, кого любил. Среди камней, во мгле рассветной – тропинка, вейся, мрак, клубись! – скрывался Бог ветхозаветный, Бог идиотов и убийц, а наверху, обнявшись немо, держа заточку и суму, два человека – сверх- и недо- еще смотрели вслед ему. Дул ветерок, бледнело небо, по плоским крышам тек рассвет. Кто нужен Богу? Сверх- и недо-.

Во всем, что между, Бога нет. Они сидели, чуть живые, в прозрачной утренней тиши. Несчастный праведник впервые в себе не чувствовал души. Исчезли вечные раздоры, затихло вечное нытье. Душа последняя Гоморры навек покинула ее.

6

Когда от скрюченного тела душа, как высохший листок, бесповоротно отлетела, то тело чувствует восторг! Ничто не гложет, не тревожит, не хочет есть, не просит пить. Душа избыточна, быть может. Душа – уродство, может быть. В рассветном сумеречном свете он видит: лето настает. А он совсем забыл о лете, неблагодарный идиот! Пока без друга, без подруги, без передышки, без семьи он исчислял в своей лачуге грехи чужие и свои, пока он зрел одни помои и только черные дела, – сошла черемуха в Гоморре, сирень в Гоморре зацвела... Как сладко нежиться и греться – как пыль, трава, как минерал... Он этого не делал с детства. На что он это променял?! Где непролившимся потоком стояла туча – тучи нет; по склонам, по овечьим тропам ползет ее прозрачный след. Как бездна неба лучезарна, как вьется желтая тропа, как наша скорбь неблагодарна и наша праведность слепа! О, что я видел. О, на что ж я потратил жизнь – тогда как мог быть только частью мира Божья, как куст, как зелени комок, как эта травка дорогая, как пес, улегшийся пластом, – пять чувств всечасно напрягая и зная не зная о шестом! О почва, стань моей опорой! Хочу прильнуть к тебе давно. Зачем нам правда – та, которой мы не вмещаем все равно? Он бормотал и дальше что-то, по глине пальцами скребя, – и крепко обнял идиота: люблю тебя, люблю тебя! Торговка вышла на дорогу, старик поплелся в полусне... Теперь я всех люблю, ей-богу! Теперь я праведник вполне. Он таял в этом счастье глупом, а мимо тек гоморрский люд, пиная труп (поскольку трупам давно не удивлялись тут).

Как славно голубели горы, как млели сонные цветы... Он узнавал своей Гоморры неповторимые черты, он слышал рокот соловьиный (о чем? Ей-богу, ни о чем!). Как сладко было быть руиной, уже подернутой плющом! Вот плеть зеленая повисла, изысканна, разветвлена... В Гоморре больше нету смысла? Но смысл Гоморры был – война, и угнетенье, и бесправье, и смерть связавшегося с ней... О равноправье разнотравья, и эта травка меж камней, и этот сладкий дух распада, цветущей плоти торжество! Не надо, Господи, не надо, не надо больше ничего. Я не желаю больше правил, не знаю, что такое грех, – я рад, что ты меня оставил. Я рад, что ты оставил всех.

Люблю тебя, моя Гоморра! Люблю твой строгий, стройный вид, то ощущение простора, которым душу мне живет твоя столетняя разруха. Люблю бескрайность площадей, уже избыточных для духа твоих мельчающих людей. Хочу проснуться на рассвете от тяжелого, больного сна, в котором были злые дети, была чума, была война, – и с чувством, что меня простили и взор прицельный отвели, зажить в каком-то новом стиле, в манере пыли и земли; и вместе со своей Гоморрой впитать блаженный, летний бред посмертной жизни – той, в которой ни смысла нет, ни смерти нет.

Сон об осени

Короткий, ясный и сильный сон – мой кабинет в «Собеседнике», давно переехавшем в новое здание, где я не был никогда, то ли из суеверия, то ли из принципа. Можно же присылать все по мейлу. Правду сказать, я очень любил и то здание, и третий этаж, и тот кабинет и проводил там в девяностые больше времени, чем дома, где у меня никогда кабинета не было. Вообще было все другое – не только редакция и не только профессия, но невероятно ясное чувство погружения в это другое: я его так старательно забывал, а оказывается – на дне памяти все лежит. При этом осень, вторая половина сентября, то время, когда не все еще осыпается и даже случаются почти летние дни, но вечерами есть уже осенняя таинственность, присущая вообще всякому умиранию (не смерти, конечно, потому что в смерти как раз ничего таинственного нет): темно-лиловые сумерки, золотые клены за окном, и я не зажигаю свет, чтобы не спугнуть эти цвета. Помню я, оказывается, даже расположение веток на стене. У нас еще неподалеку была школа, и в это примерно время двор заполнялся детьми, идущими то ли со второй смены, то ли из продленки, то ли из каких-то кружков (еще ведь были кружки), – но и дети разговаривали осторожно, уважая тайну. В этом было напоминание о собственной моей школе, о девятом-десятом классе, моем, вероятно, лучшем времени, – о тогдашних московских вечерах, которые дышали предчувствием, потому что во все щели уже просачивался воздух скорой новизны. Этими вечерами ходил я либо в Школу журналиста при журфаке, либо в детскую редакцию радиовещания на «Ровесников», либо к репетиторам, и во всем была та же таинственность, листья, медленное их осыпание, лиловые и золотые цвета. Говорю вам, это не проблема возраста, хотя и возраст был прекрасен с его пробуждением новых возможностей; это проблема переломного времени, которое в жизни дважды не повторяется, времени, когда понимаешь, например, Блока. Не представляю, как будут его понимать сегодняшние дети. В конце жизни он сам себя не понимал.

И вот я вхожу в этот кабинет, не зажигая света, – и помню памятью руки, что выключатель был, оказывается, справа; что теперь в этом кабинете? Понятия не имею. Пусто, наверное. С тех пор как мы переехали из-за безмерно дорогой аренды, там сняли вывеску, и никто так и не въехал. И совершенно отчетливое чувство, что за мной в приоткрытую дверь кто-то зашел, и ни малейшего страха, потому что кто же и мог зайти за мной следом, как не ты?

Любил я в жизни немного, новой любви, вероятно, не будет. В смысле, будет та, которая есть. Но вот эта – длившаяся без малого двенадцать лет – была особенная, из тех, с утратой которой так и не смиряешься, и никогда она не увенчивается браком, и никогда не понятно, кто виноват. Это было ближе всего к идеалу, и притом постоянно случались вещи, которые все перечеркивали или по крайней мере предостерегали, и все-таки временами случалась такая полнота совпадения, какой не было ни до, ни после. И все это закончилось восемь лет назад, оборвалось совершенно, и всякий раз, как мне хотелось вернуться или вернуть, – у меня было что вспомнить, чтобы все перечеркнуть снова и не позвонить даже спяну. И много всего у меня было с тех пор, в том числе хорошего, и там все тоже хорошо, насколько я знаю, – даже ребенок, которого вроде быть не могло, а вот смотри ты. Я слеживал издали, но без большого любопытства. Мне даже удавалось раскошегарить в себе такую злость, что побеждалась любая тоска. И в самом деле, ну были же такие вещи, через которые нельзя переступить (и очень долго переступал, потому что было и то, что важнее). И сколько раз навсегда расходились, репетировали вечную разлуку столько раз, что и в последний очень долго не верили, не понимали, насколько все окончательно; но бывает и такая усталость, которую уже не переси-лишь. Но и тогда я каким угодно знанием знал, что будет еще какая-то встреча, пусть одна, но будет; даже после того, как вроде бы случайно пересеклись совершенно не в Москве, в городе, куда я приехал с гастролями, а она по работе, и там уже почти не разговаривали, и казалось

– ну вот же, ничего не осталось, хотя как раз яснее ясного было, что осталось все, что ужасно кровоточит. И вот пришла, потому что не могла не прийти, и именно в такой день.

Какой, собственно, такой? А вот с этим именно ощущением несколько тревожного уюта. Помню, я сел однажды, на нашей как раз Новослободской, не на тот автобус, и отвез он меня не к метро, а в совсем другую сторону, почти в другой город, в ту его часть, где я сроду не был. Таких мест, между прочим, много в Москве – почти на всех континентах был, а в Москве есть целые районы, где не ступала нога вот этого конкретного человека. И вылез я только на конечной, уже на самой тогдашней окраине, и очень долго ждал обратного автобуса – не зная, пойдет ли он вообще; и было именно это чувство тревожного, но уюта. Какой-то сквер, киоск, окна зажигаются. Дружелюбные тихие пьяницы давят бутылку тогдашнего чего-то московского и тоже уютного. Домой я доехал уже к ночи, и почему-то мне каждая минута этого вечера запомнилась, как детали чудесного путешествия; огромные трубы какой-то ТЭЦ, вроде которой мы ехали, старик со старинной палкой, целая трость, и маленькая девочка с очень большой собакой... Вот такой же был вечер. Был такой вечер, какие бывали еще в Москве начала восьмидесятых годов; тогда были всякие таинственные эзотерические кружки, театры-студии, куда приглашали на тайные просмотры, квартиры подпольных гипнотизеров, которые принимали в мансардах, на чердаках, попадали туда после условных звонков в дверь, чуть ли не с паролем... Таких вечеров давно нет, потому что нет никакой таинственности – как уже было сказано, нет ее и в смерти, а сейчас какая-то сплошная смерть, какая-то послежизнь, в неубранном трупце. Но вдруг именно это чувство страшноватых и счастливых чудес, и тыходишь за мной, и я знаю, что именно ты.

Все дальнейшее уже в модусе ты – она, то есть в прямом общении и притом все время со стороны; довольно частое состояние во сне. Милая моя. Сейчас пойдет какое-то чисто автоматическое, почти улитинское письмо. Но как же воспроизвести иначе? Ты столько делала ужасного – правда, ты никогда меня не предавала, чего не было, того не было; но ведь не было и таких обстоятельств. А много другого было, такого, что даже вспоминать не могу, – но оказывается, что это все и не помнится. А помнится, страшно сказать, вот это чувство невероятной, слезной любви, небывалой какой-то благодарности. Да и то – первые два года, пока все не начало отравляться, были ведь сплошным чудом. И в первые дни, когда все началось, я вообще не понимал – как это тыходишь по улицам и перед тобой не ложатся все штабелями. Просто когда увидел впервые – когда же это было? на каких-то съемках, – вообще не понимал, как может быть такая красота, и неужели эта красота на меня посмотрит? А она сама подошла, потому что уж очень я ел ее глазами. И сразу поехали ко мне, и все было так, как не бывает. Милая моя. И одно сплошное спасибо. При этом я действительно не видел тебя восемь лет, но все помнится, любая интонация. Ты и сейчас что-то говоришь, но не надо ничего говорить, ничего выяснять. Пришла – и все, и совершенно достаточно. Чувство полной достаточности, совершенной плеромы. Как было однажды, помнишь ли, – весенним, позднеапрельским днем, в лучшее время, в четыре часа дня, только начинается вечер, только удлиняются тени, и снова какие-то дети во дворе; просто лежали и слушали их звонкое, но деликатное, мягкое, как апрельские тени, перекикивание вниз. Любимая характеристика звука – мягкий звонкий, такое, кажется, бывает в русской фонетике только у Й. Волшебный звук, которым заканчивается столько волшебных слов – даруй, поцелуй, мало ли что еще.

И вот ничего этого нет. Это тоже присутствует во сне, мы об этом, скорее всего, говорим – тоже молча: нет Крыма, куда больше не поехать, Крыма, куда мы ездили столько раз, где нас встречал Вагнер, которого тоже больше нет. И не бывать мне в обозримом будущем, если не «вообще никогда», ни в том Артеке, ни в комнате Вагнера; и не видеть мне того берега, где я с завязанными глазами прошел бы и сейчас, ни разу не споткнувшись. Это все отмерло как-то сразу, не было и сомнений, что сразу и навсегда; ни малейших колебаний, ехать ли еще. Упало, как падает топор или занавес; как обрываются отношения с тем, кто действительно

предал. Они уже не кровоточат, нет, шалишь. Не знаю, как у других, а у меня это сразу. И даже почти не болело, потому что болит ведь, когда есть шанс передумать – а здесь не было и его. Но вместе с Крымом отскочила слишком большая часть жизни, которую пришлось сразу отделить и почти забыть; действительно появилось белое пятно на глобусе, которого даже не больно касаться, – но просто я перестал его представлять себе; но, оказывается, все помнил, и как пахло, и какой был вид из окна «Скального», и как в одну вдруг ужасно холодную майскую ночь – хотя днем уже вполне купались – я вдруг проснулся при очень холодной, очень далекой, совершенно белой в кружевных облачках крошечной луне и начал, как бывает при таких ночных пробуждениях, представлять ужасное; а ты спала, ничего не почувствовала, я был ужасно одинок при этой луне и понял, что ты обязательно меня бросишь. Не может быть, чтоб не бросила. И поэтому надо сейчас встать, бесшумно одеться, оставить тебе деньги, самому тихо, тихо, неслышно дойти до трассы, поймать попутку, уехать в Симферополь, улететь. Ничего не объясняя. Потому что ты ведь все равно уйдешь, так уж лучше первым и сразу. Ну ты знаешь, как все в такие минуты припоминается. Все представил, начал уже шевелиться и одеваться, брякнул ремень – и ты проснулась, вскинулась в постели, уставилась круглыми глазами, ничего не понимая. И я ничего не стал объяснять, просто говорю: видишь, какая луна, чего-то вдруг страшно стало. И ты, горячая во сне, потянулась, схватила, обняла так страшно, с такой силой, как будто я действительно мог бы уйти; и с каким облегчением я сразу вернулся к тебе. «Что тебе такого померещилось? Что? Ничего, ничего не бойся». И больше уже ничего не боялся.

Все это отпало, да отпало и это здание, и все места, по которым ходили с тобой. Как-то так получилось, что я их никогда потом не посещал, отвалилось все Свиблово, весь вообще север Москвы, и никогда с тех пор меня туда не заносило – я даже и не понимаю, что есть какой-то Ботанический сад. И Ботанический сад под Ялтой, Никитский, – тоже ведь есть, есть добрый научный сотрудник, который почему-то из всех выделил тебя и долго угощал зизифусом, объясняя заодно и мне, какой это кладезь витаминов; где он теперь, кого и чем угощает при новых властях? Или Киноцентр, которого тоже больше не будет: не первый раз замечаю, как стирают все места, где было хорошо вдвоем с кем-то, с кем никогда уже не будет хорошо. Я не шутя думаю, что все это выдумал и теперь забываю: не может быть, чтобы так услужливо исчезали места, которые могли бы напомнить. Около киноцентра встретила нас однажды пожилая коллега и мне потом говорила: я даже не хотела тебя окликать, такой ты был влюбленный. Да и то сказать, добавила она, я тебя с такой красивой никогда еще не видела; странно, многие этого не понимали, вообще не видели этой красоты. Да и слава богу: видит ведь тот, кому предназначено, а предназначено было мне, только не для долгой счастливой жизни, а вот для таких вспышек, для такого сна.

И как странно: от всего этого, от всех двенадцати лет, что я знал, любил, ненавидел тебя, – осталась только благодарность. И неужели именно так я буду думать обо всей жизни? Я, столько раз ее ненавидевший, – буду благодарить, и не потому, что могло быть хуже, а потому, что, оказывается, было прекрасно? Как от всей осени с ее безнадёгой и грязью останется этот кленовый золотой свет. Тот свет, которым светились клены, клены, под которыми я с тобой, тогда девочкой-олимпиадницей, возвращался с олимпиады по литературе в девятом классе, и мы три лишних часа прогуляли по проспекту Вернадского, разговаривая о самом интересном, и никогда потом больше не виделись. А оказывается, увиделись вот так, ведь это ты и была, и всегда была ты, и даже когда уже не виделись – все равно была ты, наблюдала и оберегала издали, с любовью. Но не думай, я тоже оберегал, я уже знал, с кем ты и как, но никогда не пожелал тебе ничего плохого, не додумал до конца ни одной дурной мысли. А помнишь еще тот мост над какой-то мелкой рекой в Выборге, ведь были мы и в Выборге, уже когда все кончалось? Не удивлюсь, если нет теперь и моста. Но и тогда, помнишь, я тебе сказал, назвав тебя выдуман-ным именем, которое ты сама себе дала и звалась им всегда, – сказал, что лучше тебя ничего не было и не будет, что бы ты там сейчас ни говорила. А оно так и было. Сволочь, как я ненавидел

тебя за истерики, за публичные скандалы, – милая моя, я и тогда тебя любил больше всего, сколь бы дешево это ни звучало. Во всем был этот золотой свет, тайна, умирающая страна, начинающийся вечер, девочка-олимпиадница. И ничего больше не было, и только это я буду помнить всегда, и только это буду тебе говорить – спасибо.

Если это был не зов, то что еще? Какой еще может быть зов? Я знаю, что в эту ночь ты звала меня; я знаю, что не надо никакого отклика. Не письма же тебе писать, в самом деле. Но ты знаешь, что я услышал; и действительно, где гарантия, что в эту ночь мы не зашли туда, в пустое обреченное здание? Что мы там делали потом, о чем говорили, не зажигая света, – неважно. Но когда я наконец обернулся к тебе и увидел все те же круглые, от страха и счастья округлившиеся глаза, – ты так же страшно меня сжала и так же сказала: никогда, никуда не отпущу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.